

*С двенадцатилетнего возраста
и до тридцатишестилетнего
я был предан охоте страстно, безумно.*

С.Т. Аксаков

Зарубка первая

РУЖЬЕ

Оно стояло в чулане, в углу, слева от входа...

Чулан этот вовсе не был пыльным вместилищем старых вещей, сосланных в темноту и тесноту за ненадобностью. Там, например, стояли ночвы — накрытое чистой холстиной широкое и глубокое корыто, в котором бабушка Саня просеивала муку и «ставила» тесто для выпечки домашнего хлеба. В детстве ночвы казались мне предметом таинственным: впитавшая влагу белая мучная пыль в них не слипалась скользким комом, а покорная бабушкиным рукам и ее тихой (чтоб не вступать в конфликт с невесткой) молитве, начинала дышать и расти, как живая. Трогать это пухнувшее на глазах диковинное месиво мне не дозволялось, а так хотелось отщипнуть кусочек, зажать в руке и посмотреть, сумеет ли кусочек этот из моего кулака вырасти...

Еще в чулане стоял кубган — полутораведерный глиняный кувшин с широким горлом. В нем хранился мед с нашей кро-

хотной, в два-три улья, пасеки. Когда открывали дверь в чулан, падавший из сеней слабый свет спешил первым делом прислониться к кубгану, чтобы глянуть из обливной его зеленоватой глазури незнакомо, по-нездешнему гордо.

А разве могла оставить входящего равнодушным самодельная чугуная ступка с тяжелым металлическим пестом — отголосок голодных военных лет? В ней бабушка по осени толкла в порошок мелко нарезанный, высушенный до ломкости корень хрена, готовя приправу к свойскому холодцу из свиных ножек — блюду редкому, позднеосеннему, поистине праздничному.

Но главным в чулане было, конечно же, ружье. О его существовании я узнал не сразу. Сначала были отцовские медали, которые хранились в потайном ящичке стоявшего на веранде большого деревянного сундука, бабушкиного приданого. Когда я, таясь, доставал их, они строго тяжелили руку, будто говоря: шалить нельзя. Я подолгу в одиночестве перебирал их, перекаладывал на ладони металлические кружочки, будто догадываясь, что это они закрыли, заслонили, заговорили меня от темноты небытия.

Потом была игрушечная двустволка, стрелявшая пистонами. После каждого выстрела из-под бойка тянулся синеватый дымок, казавшийся мне сладким. И много еще чего было, пока я рос: мечи, выструганные из бросовой тарной дощечки, согнутый из пружинящей в руках чернолозины лук, автомат из двух-трех сухих подсолнечных будыльев, проткнутых лозовыми прутиками-рукоятками. Никто специально не подогревал эту детскую тягу к оружию, но никто и не ругал за наши бесконечные «сражения». Тогда, в пятидесятых-шестидесятых, пацифистов в нашей сельской глубинке не было: слишком свежа еще была память о недавней войне — кровавая, незаживающая. Война та, остановившаяся от нашего степного села в полусотне верст, на Дону, не прошла мимо, сумела постучаться едва ли не в каждый дом черными вестями-похоронками. Да и иными подарками страшными не погнушалась — снарядами, минами. Сеньке, парнишке чуть постарше меня, взявшемуся раскручивать один из таких «подарков», оторвало кисть правой руки. Быть «немцем» — не по-настоящему, для игры — никто не соглашался, зато в готовых к любым испытаниям «русских» недостатка не было. И это неудивительно: даже взбитая нашими босыми ногами черноземная июньская пыль, казалось, лезла в ноздри горькой задонской гарью, едким порошком. Надо ли говорить, как тянуло нас ко всему по-настоящему военному — ремням, пилоткам, наградам отцовским? Об оружии и говорить нечего, да где ж его взять?

И вот однажды...

Когда я его увидел, меня больше всего поразило, что стояло это соколовице на виду, специально его никто от посторонних глаз не прятал. В углу том, правда, стояли еще какие-то ящички, но припорошенный пылью ствол было хорошо видно. Я взял ружье в руки, понес к свету. Протер какой-то подвернувшейся под руку дерюжкой, погладил испарпанное лакированное ложе. Пальцы левой руки сами собой скользнули на цевье, обняли его снизу, прихватив ствол — будто узнавая, вспоминая. Правой руке в пору пришлось шейка приклада — указательный палец сразу нашел строгий изгиб спусковой скобы. Приподнял свою находку, вдавил приклад в плечо, попробовал прицелиться, но мушка плавала, не хотела совмещаться со стволом: на весу ружье оказалось незнакомо тяжелым. Бо-

ясь, что меня увидит кто-нибудь из взрослых, скоро я вернул ружье на место, вышел из чулана, тихонько прикрыл дверь. И с тех пор потерял покой.

О своей находке я, конечно, никому не сказал, но тайна моя жила недолго. Отец в чулан заходил редко, а тут как раз потребовалось ему что-то там найти. Вернувшись в комнату, глянул на меня строго:

— Ружье брал? Кто тебе разрешал?

Разговор у нас получился серьезный, а вот последствия... Сквозь слезы бормоча какие-то глупые оправдания — «я случайно, я так... нечаянно» — сначала я даже не осознал значения заключительной фразы — того, что должен был, по слову отца, зарубить себе на носу: «Никогда больше не бери ружье без спроса!»

— Не буду, больше никогда не буду! — преданно выдохнул я, с трудом оторвав глаза от пола. — Без спроса... никогда не буду... Пап?

— Ну, что тебе?

— А со спросом... А со спросом — можно?

Отец усмехнулся:

— Посмотрим, какой будет спрос!

Сколько мне тогда было? Лет десять, наверное. Нет, чуть больше. Старший брат Валерий, он с сорок восьмого, тогда уже жил в Воронеже, в техникуме учился. Значит, было мне лет одиннадцать-двенадцать. Но человеком я был уже взрослым, серьезным. Родители целыми днями на работе, а на нас с бабушкой все хозяйство: корова Черва, овцы, поросенок, куры. И всех накорми, напои, убери за всеми. Конечно, больше доставалось бабушке, но она как-то умела любое дело так обернуть, что без меня ей — одной-то, старенькой! — его и с места не сдвинуть. Так хочется с ребятами на выгоне в цурки или в кляка поиграть, в Вербы завеяться, но раз такое дело...

А еще мы, сколько себя помню, строились. Когда рубленый из кривых вербовых стволов дом перебирали, верх меняли, я еще мал был совсем. А вот как пристраивали веранду вместо открытой деревянной «лодки», хорошо помню. Стружек было много, их смоляной запах был резким, волнующим. Из обрезков досок я что-то мастерил, выпрямляя на лежавшем около крыльца большом камне ржавые старые гвозди. Потом стали перестраивать сараи, плетневые да саманные, потом разбирали клуню — большой, в форме широкого куполообразного шалаша сеник древних времен; больше всего меня тогда поразило, что все несущие конструкции были собраны при помощи деревянных гвоздей, причем крепко-накрепко!

Начинал я, как водится, с подай-принеси, но в седьмом классе уже самостоятельно ладил в заборку стены, набивал обрешетку. Школа само собой: в классе у нас было всего восемь учеников, спрашивали практически каждый день, попробуй уроки не сделай, особенно если ты лучший ученик. Родительское участие в моем образовательном процессе ограничивалось дневником да родительскими собраниями: первый — подписать, вторые — посетить.

Чувствую, что вам, уважаемый читатель, хочется уже задать этот естественный вопрос: «Ну, и чего это он так расхвастался?» Подождите чуток, сейчас отвечу. Чуть выше, если не забыли, я сказал, что в двенадцать лет был уже человеком взрослым; вы не поверили, но промолчали, так ведь? Вот и загнали меня в угол.

А если серьезно, то без этой предыстории последующие события могли бы показаться вам совсем уж полной выдумкой, а мне этого не хочется.

Время все шло себе потихоньку, катилось: лето, потом еще лето, за ним зима. Последний день декабря, в заиндевелые окна с улицы кто-то скребется — то ли стужа, стража ночная, то ли Дед Мороз с подарками. Да, я взрослый, не стану я верить в Деда Мороза, но вот подарки... Как же без них, ведь праздник, самый любимый мой праздник — Новый год! И одновременно с последним ударом курантов мне исполнится четырнадцать лет...

Я закрываю глаза, и мне снится, что праздничное застолье уже — вот оно, мама ставит на стол большое блюдо с любимым моим салатом «Радость» (люди скучные называют его странным именем «оливье»), а отец, высокий, красивый, непривычно веселый, весь какой-то по-молодому звонкий (они с Федосеичем уже маленько проводили старый год) говорит речь. Слов я не разберу, то ли от волнения, то ли из-за одобрительных возгласов сидящей за столом родни, но знаю, что слова эти такие хорошие! Иначе отчего бы это румянец огнем жег мои щеки... Отец, который только что был на противоположном конце стола, вдруг оказывается рядом со мной, кладет на плечо руку, говорит громко: «А это наш подарок, держи, ты его заслужил!» И протягивает мне сверток — тяжелый, пытающийся будто бы одновременно вывернуться из моих вспотевших ладоней — и остается, вжаться в них. И в пальцы мои сквозь тонкую ткань течет сладкий озноб узнавания, восторга, непередаваемого словом мальчишеского счастья, которое пронзает меня всего, такого взрослого, от занемевших пяток до коротко остриженного вчера строгой отцовской рукой затылка.

Я закрываю глаза, и вижу сон, и знаю, знаю точно, что все это мне не снится. Нет, не снится!

...Оно стояло в чулане, в углу, слева от входа.

Зарубка вторая

ФЕДОСЕИЧ

Невысокий, крепкий, широкая и какая-то по-домашнему уютная лысина от бровей до затылка — таким мне помнится он с самых малых моих лет. Почти беззубый, говорил Федосеич быстро, неразборчиво, с запинкой, но его почему-то все хорошо понимали: может, потому, что речь его хорошо дополняли жесты, мимика и живые глаза, глядевшие из-под кустистых бровей с лукавым прищуром. Простецкая манера общения никак не выдавала в нем представителя сельской элиты — фельдшера, а о том, что за спиной у него не только фронт, но и плен, концлагерь, вообще мало кто знал. Его фельдшерский саквояж меня в детстве не пугал, а завораживал: Федосеич умел всякий раз с шутками-приговорками достать из него что-нибудь интересное, а то и вкусненькое. Меня, болящего, он сразил однажды совершенно невообразимым лакомством — похожей на пищевую пастуку микстурой от кашля под названием «Пертуссин». Микстуру эту нужно было пить по чайной ложке, и я очень обижался на маму за то, что чайные ложечки у нас такие маленькие.

А еще Федосеич был охотником — умелым, удачливым, одним из первых в нашем селе. Он и моего отца по-приятельски втянул в это сомнительное по крестьянским понятиям дело. Отец загорелся не на шутку:

купил с рук тульскую одностволку шестнадцатого калибра, патронташ, завел все то, без чего настоящему охотнику не обойтись: порох, мерку, латунные гильзы, капсюли, дробь, пыжи и много еще всякой необходимой всячины. Увлечение это отцовское, их совместные с Федосеичем охоты нашли потом богатое отражение в семейном фольклоре: отец был хорошим рассказчиком, и редкое праздничное застолье обходилось без его вызывавших общий хохот «историй». Охотничью страсть отца скоро перебило нездоровье: фронтальное ранение и варикозная болезнь ног привели к тому, что уходить далеко от дома, бродить по полям и оврагам он уже не мог — ноги немели и опухали. Ружье надолго заняло свое место в чулане, а охотничьи припасы в самодельном деревянном ящике отправились в «высокую ссылку», на шкаф, куда нам с братом забираться не разрешалось. Меня, по малолетству, эта охотничья эпопея отца, казалось бы, никак не могла задеть, но...

Спустя многие годы, я прочел у С.Т. Аксакова: «Как зарождается в человеке любовь к какой-нибудь охоте, по каким причинам, на каком основании?.. Ничего положительного сказать невозможно. Конечно, нельзя оспорить, что охота передается воспитанием, возбуждается примером окружающих; но мы часто видим, что сыновья, выросшие в доме отца-охотника, не имеют никаких охотничьих склонностей и что, напротив, дети людей ученых, деловых *ex professo*, никогда не слышавшие разговоров об охоте, — делают а с самых детских лет страстными охотниками. Итак, расположенье к охоте некоторых людей, часто подавляемое обстоятельствами, есть не что иное, как врожденная склонность, бессознательное увлечение».

Наверное, Сергей Тимофеевич прав, особенно если учесть, что к «охотам» он относил самые разные увлечения — и охоту с борзыми собаками, с ястребами и соколами, и с сетью и удочкою за рыбою, и даже — «бескорыстную» охоту «до певчих птиц и голубей».

Мои «охоты» начались с того, что в детстве, еще дошколенком, я по осени чуть ли не на коленках пролезал все терны и лозинники в пойме пересохшей реки Криюши, выискивая под листьями грибы-опята. Это притом, что в нашей семье не было грибников, а сам я тогда грибы не ел вовсе, даже на дух не переносил. Почти с тех же лет я добывал летом — вручную, без всяких снастей — в пересыхающих полых лужах-озерках всякую рыбку мелочь, от окуньков до по-змеиному гибких вьюнов. Потом, только-только освоив езду на велосипеде «под раму» («на раму» не доставал), — стал ездить на рыбалку... в соседнюю область, Волгоградскую — у нас в селе тогда своих прудов не было. А ведь ни отец, ни старший брат, ни соседские ребяташки о рыбалке понятия не имели.

Охота настоящая, ружейная, явилась моему детскому воображению в образе Федосеича. С чего все началось? Точно теперь уже не скажешь, но память сохранила один случай. Когда Федосеич однажды в полной охотничьей экипировке, в белом халате, с двумя добытыми зайцами через спину, вошел под вечер в наш двор, я, влипнув в оконное стекло, весь дом переполошил: «Гляньте, гляньте — дядь-Толя! Что несет!» Федосеич в дом заходить не стал, покурил с отцом на веранде и, оставив нам в подарок половину своей добычи, двинулся домой. Когда он шел по пробитой в снегу дорожке к воротам — невысокий, усталый, сутулящийся — приклад ружья то и дело задевал гребешок навешенного вдоль штакетника сугроба, оставляя в снегу глубокие метины. В них натекали сумерки, застывали тяжелыми свинцовыми полосами. Когда я засыпал, эти сине-

ваго-свинцовые метины тянули мой туманящийся взгляд туда, за ворота, и сердце мое, замирая, рвалось-спешило туда же...

Потом были совместные наши походы в зимнюю пойму (по-нашему — Вербы). Федосеич заходил ранним утром, еще по-темному, и огородами, снежной целиной мы долго брели к дальним тернам. Начинало светать, опушенные инеем вербы стояли обочь белыми молчаливыми великанами. Я спрашивал шепотом:

— Дядь Толь, может, пора?

— Ч-ч-чуток еще, Сашок!

Мокрела спина, пот начинал заливать глаза. В далеких уже окнах домов гасли желтые огоньки. Скоро и Вербы кончатся.

— Дядь Толь, уже ж край.

— Чи-чи-чи, Сашок, не спеш-ши. Снег глубокий, заяц в крайних т-т-тернах ляжет, далеко не пойдет.

На поляне, вдоль зарывшегося в снежный намет чернобыла — глубоко промятый заячий след. Свежий! В терновник уходит, в гущину...

— Дядь Толь!...

— Ч-ч-черт-и с ним, Сашок, давай, обходи, а я там стану, в лощинке. Т-т-только тихо...

Мы расходимся. Я, проваливаясь по колено в свежие наметы, медленно бреду вокруг вытянувшегося темным островом терновника, а он все не кончается. Хотя вот, кажется... Где же Федосеич? Не сразу различаю в стороне почти слившуюся с черноталом Федосеичу фигуру: белый халат, белый капюшон, белые валенки, чернеет только ствол ружья.

Машу руками, подаю знак, что выходного следа нет, и Федосеич дает отмашку рукавицей: заходи на исходную! Легко сказать... Возвращаться по своему следу, конечно, легче, но вот уже пора сворачивать, в гущину лезть. А терновник — он колючий, чужих не любит. Каждый шаг дается с трудом, но молодой азарт не дает скиснуть. Вот уже и просвет, край зарослей, куда же он...

Заяц выбрасывается из сугроба разжавшейся стальной пружиной — рядом, в пяти шагах. Раз! — два! — и вылетает на сугробистую, вязущую быстрые лапы целину. Он бежит медленно, я хорошо его вижу. Б-бах! — Б-бах! — один за другим гулко разносятся в морозной тишине выстрелы. Эх, мимо! Заяц не пошел лощиной, а махнул через сугроб в сторону, не дал Федосеичу верного шанса.

А я... Я не стрелял. У меня нет ружья. Я ученик. Загонщик. Эх...

Зарубка третья

ВОЛЯ

На карте рядом с названием нашего села, — извилистый голубой пунктир, повторяющий изгибы речного русла. Да вот беда: русло есть, а реки нет. Ушла, высохла. Голубой пунктир, которым на карте обозначают пересыхающие речки, слишком оптимистичен. Или живет старой памятью. Вместо ушедшей воды течет между двумя порядками домов, — длинными, в несколько километров каждый, — вольная пойма: вербы, талы, терны да черемушник. Огороды с обеих сторон теснят ее, норовят пережать дыхание, а она не дается. Виной тому не только упрямая, умеющая хвататься за землю всякая дикоросль древесная, но и призрак умершей реки. Скрывается он где-то в тернах да лозинниках, в самой гущине. А по весне, ког-

да талые воды с окрестных холмов, переполняя изрезавшие широкую речную долину овраги, устремляются к мостам и дорогам, выходит на видное. Говорят, что пересохшая река, храня древнее русло, заступает дорогу полевой воде, и та, крутясь и пенясь, раздается широко, заливая огороды, прихватывая в иных местах изгороди и дворы. Разлив через неделю сойдет, да не весь: в низинах, ближе к руслу, полая вода стоит долго, засасывая огородную пашню, изводя ее медленно высыхающими лужами-болотцами. Вот и подступись к ней, к пойме, такой несговорчивой.

Там, в пойме, живет Воля — таинственная, влекущая, древняя. Деревенская жизнь, только о ней заслышав, сурово сводит брови: морок, выдумка, баловство! Молоко в кисельных берегах... а кто будет коров доить, пахать да сеять, огород сажать? Воля с ней не спорит, дыхание для другого таит. После разлива, чуток помедлив, апрельскими ночами растекается она зеленым ветром вверх по балкам и оврагам, по лесополосам да перелескам, глядя неслышно, целуя нежно пережившие зиму темные бугры и склоны, стыдящиеся своей наготы сырые черные ветки. Возвращаясь под утро, и деревенскую улицу не минует: пошепчется родственно с садами-левадами, потом, прикинувшись только что выкинувшим лист смородиновым кустом, сведет с ума заклеенную на зиму форточку; и та, потянувшись жадно, вырвется из бумажных пут и впустит в сонную духоту дорожащего своим покоем деревенского дома палисадниковую прохладу — дрожащую, остро пахнущую клейким молодым листом, льнущую к сердцу...

Но утро деревенская улица даже сама себе не признается в том, что ее разбудило. Затеплит дымы, станет звякать подойником, поведет ребятишек в школу. И только они, ребятишки, помня сладкую утреннюю тревогу, сочившуюся в невесть кем открытую форточку, будут покоряться улице той неохотно и все-то будут оглядываться — не на дом, а на поля, на дальние перелески, на Вербы. Это уж — как пить дать, точно-аптечно, по себе знаю. Глотнул я Воли той в раннем детстве наспех, жадно глотнул — по губам текло, мимо капало. Дел домашних на селе столько, что никогда всех не переделаешь, как ни старайся. Но если уж выпадала свободная минута, то часто, минуя выгон с его шумными ребячьими играми-забавами, летел я со всех ног огородной межевой стезжкой в Вербы. Там, в зарослях лозин и крапивы, ждал меня Дерсу Узала, чтобы увести сихотэ-алиньской тайгой подальше от вставших на тропу войны местных степных ирокезов. А с верхушки старой черемухи, росшей сразу за нашим огородом, можно было увидеть иногда дальние моря, Таинственный остров, капитана Немо. Но с каждым прожитым годом я, как из прошлогодних одежек, вырастал из Верб, мне становилось тесно там, скучно, хотелось идти куда-то вдаль, на простор. Никто и не держал: иди, рядом с домом, сразу за фермой, поля и поля, балки, перелески. Только как пойдешь, если там, в полях тех, люди все при деле, а ты, выходит, праздным барчуком прохаживаться станешь у всех на виду. Нехорошо это, стыдно. И только когда подарил мне отец на мое четырнадцатилетие ружье, все вдруг счастливым образом изменилось, стало на свои места. Воля и простор были теперь моими по праву — по извечному, древнему праву охотника. И что с того, что зима все лесополосы с головой замела, все овраги заваяла? И заботы эти домашние, и школьные труды нудные — на все это, если упереться, шести дней с лихвой хватит; зато уж день последний, седьмой... он и есть, он и будет — мое ВОСКРЕСЕНИЕ! Тем более что и родители вроде не возражают...

В воскресенье присыпался я по-тентому, только бабушка на кухне половицей скрипнет. Бабушке жалко меня, уговаривает: поспи, дескать, еще, внучок, тебе ж не к сроку, а на дворе вон мороз какой. Я так и взвьюсь — шепотом: «Ты чо, ба?! Я ж на охоту, понимаешь? — на охоту... мне до свету в Дорошев яр выйти нужно!» Покачает бабушка головой: «Поешь хоть», да какое там поешь, когда душа уже там, на воле, — поперек поземок скользит, сердце биться торопит.

Пара глотков чая с куском какой-нибудь вчерашней пышки-ватрушки — на ходу, уже одеваясь. Патронташ, что твоя офицерская португеза, ловко схватывает, подгоняет по фигуре виснувшую на моей лозинистой худобе фуфайку. Треух на голову, ружье на плечо — и вперед, в морозную, обжигающую щеки утреннюю стынь. На волю, на простор, за чугунные ограды запретов и условностей.

Выйти пораньше звала меня, конечно, охотничья страсть, молодое нетерпение, но не только в этом было дело. Томило меня то, что был я охотником *безбумажным*, вроде как браконьером, что ли. В то время на селе меж людьми считалось это вполне извинительной мелочью, — когда речь шла о взрослых мужиках, вышедших побаловаться ружьишкой в зимнюю пору, дававшую недолгую передышку хлеборобским трудам. А тут пацан совсем, школьник сопливый: баловство, непорядок! К тому же, не тайга сибирская у ворот, а Черноземье, Срединная Россия. Село наше дальнее, украинное, на три области петух кричит, но иногда участковый милиционер наведывается; в выходные, бывает, из города настоящие охотники наезжают. Зачем чужим людям на глаза попадаться? Да и не им только, есть и среди своих завистливые да недобрые. Если вляпаюсь, как потом отцу в глаза глядеть стану?

Надо сказать, что охотничью дрожь-трясучку мою мысль эта — «не подвести отца» — с самого первого «ружейного» дня крепко за воротник держала. И теперь, прожив жизнь, я понимаю, как рисковал тогда мой строгий, временами суровый отец — и как точно, как мудро тогда он понял меня, порывистого мальчишку, живущего несбыточными грезами романтика и книгочая. Главное было в том, что он мне ничего не сказал, а я все услышал. И это стало нашей тайной. А тайна — она ведь выше слов, правда?

Когда малиновая ранетка солнца выкатывалась из-за Холодной горы на ледяной небосклон, я был от жилья, от докучливых людских глаз уже далеко-далеко — не достать. Это был особый, сурово-светлый мир вечных красок, звуков и чувств. Где-то совсем рядом лежало далекое джек-лондонское Белое Безмолвие, а под полузанесенным овражным кустом черноклена полоска жухлой травы темнела спиной героя повести Григория Федосеева «Смерть меня подождет», пытающегося разжечь костер последней, расколотой надвое, спичкой. Мне хотелось стать своим среди них, настоящих людей, сильных, не боящихся трудностей.

И потому, подхватив на подветренной стороне оврага утренний заячий след, я распутывал его на залитанной поземками пашне упорно, чуть ли не на коленках. Вспоминая рассказы Федосейча, находил оставленные коготками заячьих лап метины на заледеневшем насте раздетых ветром проплешин, распутывал хитроумные «двойки» и «тройки», сдвоенные и строенные следы на снежной целине низинных затишков, находил «сноски» в зарывшемся в снег полынке — там, где заяц, пытаюсь меня запутать, делал вдруг прыжок в сторону метров на пять. «Ага, — шелестел я беззвучно обветренными губами, — вон край сугроба порыт, но снег в

ямке не примет — лужная лежка. Значит, он уже где-то рядом...» Горячим комом колыхалось в груди сдерживаемое дыхание; рукавицу долой — курок взведен, указательный палец на спусковой скобе...

Заповедь Федосеича «заяц всегда встает у тебя за спиной» сверлит мозг, я поминутно оглядываюсь и... лишь боковым зрением улавливаю варом обдавший сердце характерный промельк: он, заяц! Ружье пытается догнать его одним рывком — навскидку: «Б-бах!». Приклад больно толкается в плечо, сгоревший дымный порошок забивает горло — а заяц, прижав уши к спине, взметает снежную пыль уже метрах в ста, кубарем катится по склону.

В первое время все было именно так, раз за разом: тропить зайца — наука непростая. Нужен навык, а еще — выдержка, твердая рука, верный глаз. И ружье — не такое, как моя раздолбанная, «гуляющая» в сочленениях старая тулка. Но на втором году охоты уже далеко не всякому зайцу удавалось меня обхитрить. И ружье ко мне попривыкло: приклад не бил в плечо до синяков, мушка не порошила прищуренный мой глаз, а вела его, помогала. А я, даже когда стрелял навскидку, научился угадывать тот единственный миг, когда ствол, будто забыв о скором выстреле, движется зряче, твердо и плавно.

То бишь, стал я охотником уже не только на словах да по обличию. Правда, с добычей возвращался не так уж часто. Да и не всякая добыча радвала. Однажды морозным январским утром набрел я случайно возле лесной полосы на ночевавшую в снегу тесным кружком стаю куропаток. Они — ф-ф-фы-р-р — у меня из-под ног, я даже рукавицу сдернуть не успел, не то что выстрелить. Но далеко не улетели, в сотне шагов от меня в снег попадали, теперь уже не скопом, поодиночке. Снег свежий, глубокий, упадет в него куропатка — и нет ее, только воронка видна. Я — ружье наизготовку и вперед, к воронкам тем снежным. Подошел уже на верный выстрел — не взлетают. Ближе подхожу, еще ближе...

Приходилось мне читать, как, охотясь на ночующих в снегу тетеревов, подходят к ним чуть ли не вплотную, валенком на хвост наступают, да как-то не очень в это верилось: мало ли доверчивой публике всяких охотничьих баек впаривают. А в то утро убедился, воочию увидел, что такое бывает. Куропатки начинали взлетать, когда я был уже шагах в десяти, причем взлетали не разом, а поодиночке, будто давая время примериться, выцелить. Снег гасил начальный рывок крыльев, взлет получался как в замедленном кино, и тут уж даже мне, мало стрелявшему влет, было труднее промазать, чем попасть. К тому же куропатки вели себя странно: после выстрела они, пролетев метров двести-триста, снова падали в снег. Я поднимал добычу, перезаряжал ружье, и все повторялось как под копирку. В стайке той было около полутора десятков птиц, я мог бы выбрать их всех, но, слава Богу, очнулся, опомнился, привязывая на пояс четвертую или пятую. Почему-то возникло вдруг неприятное, сосущее чувство вины, объяснить его я себе не смог. Но продолжать охоту уже не хотелось, и я, не добрав до своей обычной дневной нормы часа два, тронулся в сторону дома. По дороге вспомнилось где-то вычитанное: если в стае зимой останется всего пять-шесть особей, куропатки погибнут, потому что не смогут сохранить тепло своего живого кома длинными морозными ночами. Да, говорил я себе, ты молодец, вовремя остановился. Стайка еще большая, она должна выжить.

Но вина не отпускала, продолжала сосать из груди горячий, пьянящий легкие охотничьи восторгом воздух. Обходя сугробистый овраг, я

поспешил и в самой вершинке провалился в снег по грудь. В первое мгновение ощутил оторопь: снег, крепко ухватившись за валенки, не хотел меня отпускать. Переведя дыхание, стал полулежа, держа правой рукой над головой ружье, проминать себе дорогу. И увидел прямо перед собой, в затишковой ложбинке, ясные, будто нарочно сделанные отпечатки заячьих лап. Было видно, что заяц прошел здесь легко, будто просквозив над коварной этой снежной глубиной.

И я подумал: вот, вот в чем дело!

Я подумал, что если я пойду сейчас по следу, то заяц, легконогий и сторожкий, вовсе не будет обречен — куда там, попробуй к нему подберись! Да попробуй еще попади в него, катящегося по склону серым клубком, полувлетающего. Это и есть охота, настоящая, потому что в ней мы со зверем на равных: у меня — ружье, у него — чуткие уши, быстрые ноги и отточенный веками инстинкт борьбы за выживание. А у куропаток сегодня никакого шанса не было. Может, сморила их долгая стужа, может, бескормица одолела, — не в причине дело. Они были как будто обречены, я не сразу понял это, но не мог не почувствовать; и эта непонятная, гнетущая сердце тоска — она, конечно же, оттуда.

И я подумал, что я не хочу повторения — и никогда не стану бездумным рабом, покорным пленником *такой* охоты...

Скоро я понял, что моя охотничья страсть устроена как-то странно: для нее куда важнее было преддверие, предощущение удачи, чем сам удачный выстрел. Чернотроп ли, пороша, снега ли по колено — мне всегда хотелось уйти подальше, бродить и бродить, глубоко вдыхая в себя сизый степной полынок и почерневшие бурьяны, солнечную распахнутость убранных полей, темно-сизые метины перелесков. Полевое, степное это одиночество не тяготило меня, не томило; напротив, оно было дорого, необходимо мне. Через годы я нашел такое же чувство у моего земляка Ивана Бунина, сначала в прозе, а потом и стихах:

Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалаяся трава,
И, под дождем осенним млея,
Чернеет темная листва.

А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.

Когда Бунин писал эти строки, ему было девятнадцать лет. До нобелевской речи столько еще всего должно случиться; но не здесь ли, в осенней русской степи, во время одиноких скитаний с ружьем на плече, забрезжило в его душе, тронуло сердце сладким холодом все то, что потом, уже в другой жизни, вдалеке от России, отозвалось просветленной глубиной, светлой печалью «Жизни Арсеньева»?

В четырнадцать-пятнадцать лет сжигала мое сердце одна страсть — охота; о сочинительстве я, кажется, тогда даже не помышлял, хотя как знать, как знать... Жадный до сладкого ветра охотничьей широкой воли,

дорожащий каждой минутой пьянящего ощущения азарта и непокою, иногда я вдруг останавливался, замирая. И подолгу молча смотрел — казалось бы, бессцельно и бездумно, — на то, что никак не выбивалось из обыденно-привычного течения деревенской жизни: на перевитую поземками прощальную чернь глубокой пахоты, на будто бы слитый, задохнувшийся куржаком бурьян-деревей на дне разорванного пруда, на дымное от стужи, сжавшееся, страшщееся ступить на снег босое рассветное солнце, которое некому согреть, утешить. У меня не было тогда соблазна перенести эти свои необычные ощущения на бумагу, но почему-то не хотелось, чтобы они ушли бесследно, стерлись, забылись.

Теперь сам себе удивляюсь: как можно было идти и идти целый день, не приседаю? А ведь шел. Даже обедал на ходу: в одной руке хлеб, в другой — сало. Хлеб теплый, он за пазухой был, а сало в кармане телогрейки стало почти каменным, но это не беда, зубы-то еще все целы! От зубов на сале оставались следы-бороздки, как от вогнутой стамески на деревянном бруске. Прихваченное морозом сало, оттаивая во рту, сластило, тянуло на себя слюну. Особенно нравилось мне медленно разжевывать шкуринку — зарумянившуюся от соломенного жара, пахнущую дымком. Во рту потом долго еще оставался этот дразнящий вкус-аромат...

Приходил с охоты я всегда в сумерках. Оставив ружье в холодных сенцах, заходил на кухню, плюхался на табуретку, стягивал тяжелые валенки. И долго пил из желтой литровой кружки бабушкин кисло-сладкий, пахнущий летом взвар — закрыв глаза, большими торопливыми глотками. Когда моей любимой кружки не случалось под рукой, я, не в силах ждать, поднимал перед собой ведерный чугунок и пил прямо из него, через край. Бабушка Саня ругала меня, дикаря, а я только улыбался. Я был тогда очень счастливым человеком, только не знал об этом. Во сне после охоты я часто летал, как герой печатавшейся тогда в «Пионерской правде» какой-то фантастической повести. Этому ничего не мешало: валенки, которые к вечеру я едва волочил, каждый по пуду, мирно дремали, грели бока на лежанке. Наверное, им тоже снились легкие, счастливые сны.

Зарубка четвертая

КРАСНЫЙ ВОЛК

Был я зайчатником-одиночкой, как иногда говорили в шутку мои старшие коллеги по недугу, «топтуном»: собачки нет — нюхай воздух, топчи след. В своих зимних «топтаниях» я иногда задевал взглядом свежий лисий след; порой и сама лиса, вышедшая помышковать, мелькала где-нибудь возле зимовавшего в степи стога соломы или среди будыльев поздно убранного и оставшегося невспаханного поля подсолнечника. Но мелькала рыжая охотница далеко, на ровном, не подберешься. Тропить же ее было делом бессмысленным. Это не заяц, который держится за свою дневную лежку крепко, всеми четырьмя лапами. Лиса, хоть и считается «сумеречной» хищницей, может иногда за день накрутить на своем личном спидометре двузначную цифру — особенно в конце января, когда гон приближается. И я, постоянно держа лукавую героиню сказок в своем охотничьем уме, думал о ней скорее отвлеченно-мечтательно, чем всерьез: «Вот бы на меня вышла!»

Охотился я обычно в той части речной долины, которая примыкала

к «казачьему пограничью», на другую сторону поймы, к большим ярам Гатьманка и Кургузка, выходил редко: чтобы туда попасть, зимой нужно было километра полтора петлять низиной, по наметам, потом выходить на «тумбочанскую» (расположенную на другой стороне Верб) улицу, где и в ранний час можно было встретить кого-нибудь из односельчан. А мне ни с кем встречаться не хотелось. Но в то утро как будто чертик шильцем своим шкодливым подштрыкнул: сходи, дескать, Саш, туда, проведай, не все ж тебе с Соболевым лесом дружбу водить. А что, думаю, и правда. И двинул. Когда я, миновав крайние «тумбочанские» дворы, подходил к Кургузке, ранние январские сумерки уже распались на отдельные предметы, но виделось все как через запотевшее стекло. До стекла этого мне трудно было дотянуться, и я тер глаза, пытаюсь «навести фокус». Края оврага нависали над бурьянами высокими, причудливо зализанными ветром сугробами, а внизу, на дне, снег лежал ровно, без складок, как постеленный хорошей хозяйкой половик. Узкий этот снежный затишек, храня множество старых заячьих и лисьих следов, превратился уже в подобие звериной стежки; по ней я побрел вверх, к неблизкому овражно-му истоку.

В снеговом каньоне еще держались сумерки. Снег под ногой не скрипел, а проминаясь, тоненько поскуливал. Шел я неторопливо, думал о предстоящей охоте: вот выйду на вершину, огляжусь, прикину... Ружье на плече — маршевый вариант казался мне тут вполне уместным. Когда вымелькнуло, выметнулось из-за поворота что-то темное, остроглазое, наметом летящее прямо на меня, я отшатнулся, едва не заорав с перепугу. На узком дне оврага нам было не разминуться. Рванул с плеча ружье, вскинул — на мушке колыхнулся наползающий на меня красный волк! Он тормозил всеми четырьмя лапами, но его все еще несло. Глаза у волка были бешеные, он щерился, грозя напасть. Между нами было не больше десяти шагов. Метаясь зверю в грудь, я нажал на спусковой крючок и... ни звука выстрела, ни щелчка, вестника осечки, не услышал. Зверь, наконец, совладав с инерцией движения, остановился. Долю секунды мы, будто оглушенные, смотрели в глаза друг другу, потом он, подпрыгнув, развернулся в воздухе и гребанул снег разом всеми четырьмя: назад, назад!

Тут — будто в калейдоскопе картинку передернули — и разгляделось: да не волк это, а лиса, просто лиса...

И стегануло по мозгам так, что сердце оборвалось: болван, ты же курок не взвел! Курок, курок!

Прицелиться я уже не успевал, выстрелил с вытянутых рук, «влет», но в пустой след: катящийся вверх лохматый красноватый комок уже срезало поворотом. Переломив ружье, я долго не мог поймать занемевшими пальцами ободок латунной гильзы; да что там — я еще долго с места тронуться не мог. Потом, осматривая «поле боя», как же я ругал себя — недотепу, слюнтю, туриста тюкнутого!

На тебя — сама — сама! — лиса вышла, а ты — в упор — с десяти метров... А ты — а ты — а ты...

Впору зареветь, как в детстве от обиды, но у меня все наоборот: ох, и разозлился же я тогда на себя! И сказал себе: все, парень, пока лису не добудешь — ты не охотник. А парнишка-то я был, несмотря на книжную «ботаническую порчу», упертый.

Надо сказать, что тогда, в конце шестидесятых годов прошлого века (не правда ли, прямо-таки древностью веет?) лиса считалась завидным

охотничьим трофеем. За шкурку зайца в заготконторе давали копейки, а за лисью — червонец. Большие деньги по тем временам. Хороший лисий мех, умело выделанный, и без заготконторы не залеживался: модницы, причем не только деревенские, охотно брали его на шапки. О престиже такого трофея я вообще не говорю: ну что ты за охотник, если ни одного лисьего хвоста не прибито на двери твоего вигвама?

Вы, наверное, меня поправить хотите — мол, вигвамы вообще без дверей были? Ну, это зависит от того, где жили ваши индейцы. Наши, черноземные, без дверей вигвамы не рубили — зимы студеные, ноги протянешь. Но это так, к слову потешному...

После того памятного утра охотничья тактика моя изменилась мало, я все так же кружил, как ветер, полями-перелесками; а что другое придумаешь, если собаки нет? Тропил зайчишек, но это занятие прежнего удовольствия мне уже не доставляло. Нужно было достать-добыть лису, но как?

Тянуло почему-то туда, к месту моего недавнего позора. Не то чтобы я всерьез надеялся, что случай решит дать мне второй шанс, но какие-то неясные, тревожащие воображение мысли в голове бродили. У лис гон вот-вот начнется. В это время они шалеют, забывают об осторожности; вдруг да и явит еще себя «красный волк»? Спутать его ни с кем я не мог, потому что зрачки мои, как фотопластинка, навсегда впитали в себя его облик.

Время шло.

Охотничьи деньки коротки, летят быстро; вот уже и последнее воскресенье зимней охоты явилось. День выдался солнечный, среди дня пригрело почти по-весеннему. Я, дав полями впустую полукруг километров в десять, после полудня спускался с водораздела, неторопко шел межовражьем Гатьманки и Кургузки. Под ногами крошился наст, еще утром сталисто-твердый, проминавшийся только на высоких сугробах. Поневоле приходилось торить себе дорогу по кромке зяби, там, где снег стянуло в овраг. Внизу, в долине, широкой стоячей водой чернели Вербы, на ближней улице жались друг к другу дворы, привязанные короткими стежками к пробитой бульдозером зимней «одноколейке», как собаки к проволоке. Домам, думалось мне, тоже хочется зайти повыше, глянуть на мир не из-за оград да сараев, но стежки держат крепко, не сорвешься. Вот скука-то...

На склоне, полого стекавшем к оврагу, заблудившейся снеговой тучей чернела куртинка низкого полевого терна. За ней — занесенная по самые брови полоса колючей дерезы, из которой ладят веники и метлы. Дерезы почти не видно, сорочьими мелкими следками проступают, метят снег оставшиеся на виду самые кончики верхушек. За дерезой цепляет взгляд клоч соломы — яркий, будто бы не тронутый снегами-поземками. Останавливаюсь, всматриваюсь. Откуда он тут взялся? Ветром принесло? Солома начинает шевелиться и ... приподнимает голову. Я валюсь в снег, не сомневаясь ни секунды: «Он! Точно он... Счас рванет...» Время останавливается, продолжается почему-то больно тикать в висках. Приподнимаюсь на локтях, поднимаю глаза: клоч соломы лежит на том же месте, только очертания изменились. Неужели не заметил?!

Я ползу по склону, проминая в снегу глубокую борозду. Это совсем не похоже на кино про разведчиков. Ползти получается только на левом боку, потому что в правой руке зажато ружье, не дай бог его в снег окунуть. Снег забивается в рукав, холодит шею, течет за пазуху. Сколько еще

себя мучить? Может, хватит? Приподнимаю не голову, а, кажется, одни глаза: нет, далеко. И еще, и опять — вперевалку: локоть, колени, валенки, тщетно пытающиеся во что-нибудь упереться. Еще чуток, еще...

Когда мушка, уняв дрожь, нащупала, коснулась его, он, будто ощутив это, снова поднял голову. Не заметить меня — в тридцати шагах, уже привставшего, изготавившегося для выстрела — было невозможно. Он рванулся к оврагу, сделал один прыжок, другой, но мушка, черной пиявкой вцепившаяся в бок, его не отпустила. Дробь-нулевка ударила кучно, избавив его от долгих мук. Когда я, перезарядив ружье, подошел к нему, рыже-красный красавец-лисовин, уже неживой, мелко подрагивал лапами, будто все еще тянулся к оврагу. На этот раз повезло мне. Повезло крупно. Но странное дело: куда-то ушло, сосутилось в тень еще недавно подталкивавшее меня гулками ударами сердце, унялось шумное дыхание.

Я не испытывал восторга.

Я испытывал только усталость. Было такое чувство, будто у меня отняли что-то — важное, очень для меня значимое; и я хочу все вернуть, но не знаю, как это сделать.

Связав лисовину лапы, перекинул его за спину и двинулся к дому. Впервые я подходил к селу не в сумерках, а белым днем. И пошел не через Вербы, а по улице. Для себя я нашел оправдание — дескать, приустал уже, чего в Вербах сугробы мерить. Хотя правда была настолько простой, что даже не требовала слов. Эту правду я знал, она смущала меня. И все же я шел по улице, здоровался со встречными односельчанами, с удовольствием слушал их одобрительные восклицания: «Силен! Настоящий охотник!» Я действительно чувствовал себя большим, повзрослевшим на годы. Это гордое чувство омрачалось одной малостью: похожей на нарывающую занозу догадкой, что взрослость — калитка, которая открывается только в одну сторону. Назад, в детство, я уже не вернусь.

Зарубка пятая

ЛУННЫЙ ДЫМ

На задах нашего двора, сразу за забором — выгон, а за ним колхозная МТФ, молочно-товарная ферма. Соседство не самое приятное, но село к таким вещам привычное, в каждом дворе своя худоба. Правда, новые корпуса — типовые, каменные да кирпичные, с поилками и прочими коровьими удобствами — построили от жилых домов в стороне, почти в поле. А от старой фермы остался один корпус, который точнее было бы назвать сараем: стены из обмазанного глиной горбыля, плетеные из лозы потолки, соломенная кровля. На моей памяти в этом корпусе недолгое время был телятник, потом телятам дали новую квартиру, а опустевший сарай прибрала к рукам местная ребятня. Там мы играли в войну, в прятки; по вечерам, светя себе жужжащим фонариком «жучок», ловили в соломенной стрехе ночевавших там воробьев. Но с каждым прожитым годом мальчишеские голоса звучали на старой ферме все реже: мы подросли, а у малышни, которой на нашей улице было не так много, нашлись уже другие игры-забавы.

От старой фермы, через низину, рукой подать до глинища. Около глинища была силосная яма, рядом с ней всякую зиму плотно стояли длинные скирды соломы. Снег около силосной ямы всегда был густо истоптан заячьими лапами. Зайцы приходили кормиться ночью, когда

им никто не мог помешать, разве что лисы, которые тоже сюда наведывались. Иногда я пытался, подхватив около силосной ямы свежий заячий след, его распутать, но, за редкими исключениями, были то пустые хлопоты. Заяц близко от этого бойкого места на дневку не ложился, уходил полем за казачью межу, в бурьяны и балки. И не раз думалось мне: «А если прийти сюда ночью, засидку устроить?» Но все что-то перебывало: то до полнолуния еще далеко, то погода хмурая случалась, снег да вьюга. В том, что боязно ведь отправляться в глухое место ночью, пусть и с ружьем, я себе признаваться не хотел. Да, может, и правильно, что не хотел: иначе как бы я потом решился? А ведь решился, да. Случилось это, правда, не сразу, не вдруг. Я тогда уже перешагнул порог совершеннолетия, учился в университете. Зимняя сессия оказалась длинной, экзамены держали меня в городе почти до конца января, и домой я приехал дня за два-три до окончания охоты. Добрался домой к обеду, переоделся наспех, ружье схватил — и вперед: хоть час да мой! Шел привычной дорогой, через ферму, возле глиница притормозил: один след, другой, третий...

Снег свежий, и весь заячьими стежками вышит, где крупно, где помельче. Ага, думаю, после ужина и догонялки были тут у вас, и посиделки; может, навеститься в гости? Прошелся вдоль силосной ямы, влез на ближнюю скирду, уже изрядно разворошенную, до половины выбранную. С верха этой скирды обзор — лучше не придумаешь. Я сбросил вниз несколько смерзшихся соломенных коржей, пробрал себе «сидку», примерился-прицелился...

Погода, что называется, шептала: легкий морозец, редкая облачность, небольшой ветерок — как раз с поля, на меня. И фаза луны подходящая. Когда еще так удачно все сойдется? Все, решено! Иду собираться.

А какие, собственно, сборы? Протер ружье, набил патронташ — до упора (мало ли что!). Сложнее оказалось с экипировкой. В телогрейке хорошо по полям километры наматывать, а сидеть на морозе без движения — холодно.

— А ты надень мой кожушок, — посоветовал отец.

— Пап, да он же столетний! И моль небось его весь источила.

— Источила, да не весь. Будешь в нем как чай в термосе.

— А где он?

— В сарае, где ларь с зерном.

Кожушок тот я долго тряс на улице, густо летевшую пыль сносило ветром, а под ноги мне падали тонкие шерстяные завитки, похожие на черных гусениц. Да, постаралась моль, потрудилась...

Вспомнился вдруг жаркий июнь первого послешкольного лета. В доме тихо. Ставни в горнице закрыты, на кухне свежeweымытый пол дышит влажной прохладой. Я стелю на пол этот самый кожушок, ложусь на живот и, положив перед собой учебник, замираю. Слышен только шелест страниц. Когда начинается от чтения пухнуть голова, меняю книжку на тарелку с вишнями, которую еще утром, до работы приготовила для меня мама. Правой рукой бросаю в рот спелые вишни, в левую сплевываю косточки, отрешенный взгляд — за окном, где такие же вишни, еще не сорванные, прячутся в зеленом кружеве листвы. Я — неприкасаемый. Под койкой уже стоит собранный мамой чемодан. Скоро я уеду. Меня ждут экзамены. Важные. Трудные. Поступаю я туда, где никто еще из нашего села не учился — в университет, на юрфак. Там большой конкурс. Мне

тревожно и весело. Я не знаю, что со мной будет, но та незнакомая жизнь зовет меня, ее дальнейшее дыхание тихо трогает мой лоб, касается век. Я улыбаюсь, хочу что-то сказать и... засыпаю, зажав в горсти теплые вишневые косточки...

В кожухе, подпоясанный патронташем, я неуклюж и решителен, как средневековый рыцарь, собравшийся на ристалище. Конь мне не нужен, нетерпеливые ноги уже вынесли меня за калитку. Удивленная луна пытается заглянуть мне в лицо, ей мешают реденькие облака, похожие на рваные тюлевые занавески. Темноты нет, это хорошо, но непривычно, и все время хочется оглянуться: не идет ли она за тобою след в след? Особенно здесь, около старой фермы. В лунных сумерках полураскрытый сарай с просевшими стенами выглядит чужим, пугающим, и воображение принимается за работу: кажется, что в пустых глазницах окон мелькают какие-то неясные быстрые тени. Может, это крылья давно уже облюбовавших этот брошенный сарай сычей? Быстрее бы дойти до места, там спокойнее...

Угнездившись на скирде, я поначалу и вправду успокаиваюсь. И с интересом смотрю древнейших времен немое кино, которое крутит для меня лунная ночь. Мне казалось, что все это я уже видел много раз — из окна.

Я ошибался.

Человек, отъединенный от природы, спрятавшийся от нее в безопасном, как он полагает, укрытии, перестает быть ее частью. Ему уже недоступно быть ее дрожью, ее касанием, ее слезой и гневом — даже опосредованно. Он самонадеянно пытается присвоить себе статус ее исследователя, а то и преобразователя, тогда как на самом деле он даже не зритель, а тайный соглядатай, боящийся самому себе признаться в незавидности своей роли.

Вот и лунный свет — «необыкновенный», «волшебный», «влекущий», какие там еще эпитеты приготовлены для него одомашненными нашими чувствами-строчками? А он... Да, какой он? Зыбкий, неверный — даже напряженным взглядом за него не ухватишься. Клубящийся, похожий на примятый ветром к земле дым — когда белой мошкаркой клубятся, выоты возле лунного диска сквозящие барашковые облака. Растекающийся, далеко уходящий за окаймляющие глинище полынки — и стоящий за спиной, ввинчивающийся, как восточный лекарь, вдоль позвоночника острые витые иголки...

Нет, правда, почему мне, полузарывшемуся в солому, упакованному в овчинный полушубок, неуютно, зябко? Или — как будто зябко... Холод этот идет, скорее, изнутри, собирается меж лопаток и медленно обрастает, растекается по спине кусачими мурашками-иголочками. Мне и не страшно вроде (ружье под рукой), а тревожно-одинокое как-то, потерянно.

И время... С ним что-то произошло. Оно остановилось. Чернеет разрытый бульдозером край силосной ямы, жмутся к скирдам припорошенные снегом бугорки упавшей с тракторной телеги соломы, неведомые ловцы с высоких облачных челнов влекут по краю заснеженного поля свои неслышные сети-мережи; ничего, ничего в них не попадает. Сморгнешь с глаз, смахнешь рукавом влагу-наволочь — а перед тобою все та же застывшая картина. Минута, час, вечность...

И смежаются веки, на миг только, — и так же неслышно возникает напротив, в метрах в трех от дула ружья, скользнувшая из мертвой зоны, из-за скирды, мохнатая тень, сверлящая меня чужими, красными глазами. Испугаться я не успеваю, пытаюсь ее сморгнуть (задремал, примсти-

лось) — и она, задетая моими ресницами, кубарем катится со скирды на снег, обретая контуры плоти, причем хорошо знакомой: лиса! Доля секунды — и нет ее, метнувшейся в сторону, канувшей в темную воду натекашей в глинище налуни.

— Х-э-э-й! — несется ей вслед мой хриплый выдох, не столько пугая зверя, сколько пытаюсь освободить грудь от ставшего вдруг тесным ей воздуха. К ружью, удобно пристроенному на соломенном выступе, прямо под руками, я даже не дернулся: так быстро, так мгновенно все произошло.

Встал, размял затекшие ноги, помахал руками, осмотрелся. В домах на нашей улице окна уже не светятся, только на ферме, около дома животновода, горит одинокий фонарь. Время позднее. Можно и домой двинуться. Зайцы теперь уже вряд ли явятся. Лиса постаралась, и я ей помог. Как хорошо будет, вернувшись в тепло, снять этот вяжущий по рукам кожушок, попить крепкого чая, держа обжигающую пальцы кружку обеими руками...

Если бы только не эта ухмыляющаяся в кулак мыслишка: «Что, спекусы? Да, парень, жидковат ты на расправу!» Так, внутренний шепоток, пустой и глухой, никто его не услышит. А задевает. И я сажусь опять в свое гнездище, прикрываю колени соломой, жду продолжения сеанса. Поднебесная стужа трогает звезды своим широким рукавом, наводит блеск. Звезды сейчас похожи на шляпки золотых гвоздей, которыми темно-синяя экранная ткань прибита к причудливо выгнутому пространству сцены. Кинотеатр летний, но, оказывается, кино тут крутят по ночам и зимой. Зрителей хватает, только ведут они себя необычно. Не скрипят креслами, не лужагут семечки, не переговариваются. Делают вид, что их здесь нет. Но я знаю, что на этом сеансе не один. Чувствую, ощущаю.

Облачность становится гуще, плотнее, и лунный дым уже не сквозит, а наплывает густыми волнами, застит глинище и край поля, подбирается к силосной яме. Я продолжаю напряженно всматриваться, и мне все чаще кажется: что-то — вон там, у кромки пахоты — колыхнулось, качнулось, мелькнуло. Нет, показалось.

Тут луна находит узкий просвет в ставшей почти сплошной облачности — и видит медленно ковьялющего вдоль пахоты зайца. И я его вижу — ясно, четко. Но когда, бережно приподняв ружье, начинаю целиться, мушка расплывается, кажется даже, заслоняет цель. Опускаю ствол, снова вглядываюсь — да вот же он, вот! И тогда, не выцеливая, чуть поведя стволом по ходу движения, я спускаю курок — по наитию. И слышу, что попал. Крик зайца бьется на одной жалобно-высокой ноте — бесконечно-длинный, обреченный. Он сбивает дыхание; он, как горячий укол, наполняет мою кровь тягучей резиной, которая никак не может протиснуться через сердце. Я перезаряжаю ружье и снова стреляю — на крик. Не целясь. И слышу, что попал...

Обратная дорога запомнилась ощущением: будто сижу я в лодке, а лодку ту, покачивая, несет к темному обрывистому берегу белая скрипучая вода. Вот и берег. Он тоже скрипит: просевшей доской крыльца, промерзшими половицами веранды. Сбрасываю на пол кожушок, снимаю валенки, неслышной зябкой тенью просачиваюсь в тепло. Дом спит, и мне почему-то очень важно его не разбудить. В своей комнате, раздевшись, на ощупь нахожу заботливо откинутый край одеяла (это мама), ныряю в постель, закрываю глаза — крепко, будто пытаюсь спрятаться за темноту. Ничего не выходит: сквозь ресницы сочится, наплывает, теснит желанную темноту тревожный лунный дым.

УТИНАЯ ОХОТА

Если кому-то услышится в названии этой главки слишком явный переклик с названием известного ему литературного произведения, я скажу ему: ладно, пусть. Замечу только, что у Александра Вампилова утиная охота — лишь метафора, обыденное имя несбыточной мечты о какой-то иной, настоящей жизни. Вы ведь помните, что по ходу действия пьесы главный герой Зилов, пустивший свою жизнь на распыл бездельник и Казанова, все время порывается уехать на охоту; порывается — и не едет.

Кстати, и у обаятельного представителя эстрадно-песенного бомонда Александра Розенбаума есть своя «Утиная охота». Когда слушаешь — притягивает, что называется, «забирает». А возьмешь текст и видишь — пусть и не примитивный, но все же китч, только одна строка и остается: «В плавнях шорох, и легавая застыла чутко...» Но публике, судя по телекартинке, куда ближе разухабистый рефрен: «Гулять — так гулять! Стрелять — так стрелять!» Аплодируют, подпевают...

Все это я говорю к тому, что у каждого она своя, утиная охота. В моей были и плавни (правда, без легавой), но начиналась она... в степи. Да, в засушливой нашей черноземной степи, где прудов тогда было — кот наплакал, зато что ни шаг — овраг или балка. Там, где оврагов было особенно много, их вершины, вплотную подошедшие к полям, обваловывали. Эта прерывистая «Великая китайская стена», защитившая поля от поползновений кочевого овражного племени, стала одновременно и хранилищем вод, талых и дождевых. Собранная обваловкой случайная эта влага мало где задерживалась надолго, но были и такие изгибы-карманы, которые по весне становились похожи на пруды. Правда, пруды игрушечные, но каждый, блестя на солнце веселым зеркальцем, манил, сбивал с пути пролетную утку. Иной раз под вечер сваливались в эти лужи целые стаи кряквы, закрывая собой, черня испуганное мелководье. Шум, плеск, разговоры на все голоса... Настоящий базар, но — чуткий, сторожкий. Попробуй подберись. А подбираться надо, от кряканья этого в груди дышание мрет. Карабкаешься по оврагу, елозишь локтями-коленками по земле, взбираясь ползком на обваловку, только нос высунул, а они — ф-р-р-сив-сив-сив-сив — засвистели крыльями. Пальнешь вдогонку с досады и глядишь, запрокинув голову, как они уже почти под облаками высоту кругами нарезают. Ладно, в другой раз.

Когда постарше стал, отец иногда давал мне мотоцикл, зеленый наш «ижак» с коляской, и я улетал на нем на дальние пруды. Они у нас почти все на одно лицо: земляная гребля, заросшая вербами, а берега — пустые, голые. Утки сбиваются в хвосте, и никак их оттуда не стронешь, разве что случайно спугнет кто. Весь этот степной «колорит» сделал свое дело: к утиной охоте я не прикипел. И когда после окончания университета приехал в Подонье, где в пойме не счесть озер и стариц, не сразу охота этой нанес визит. Много времени отбирала суровая работа, которая не хотела считаться ни с ночным временем, ни с выходными. К тому же я женился, родился сын, столько сразу радостных, но и крепко держащих при себе семейных забот навалилось. Жили мы тогда в половинке обычного деревенского дома: двенадцатиметровая комната и кухонька, где, кроме печки, помещался только стол. Удобства во дворе, водопроводная колонка — метрах в трехстах, через дорогу, около деда Кондачка. Если учесть, сколь-

ко воды нужно на одни только постирушки, — олимпийцев можно тренировать.

Но однажды по осени «застеночный» сосед Михаил все-таки сумел сманить меня «на уток», с ночевкой. Сосед был постарше меня, слыл охотником опытным, и я, признаться, был очень удивлен, когда машина свернула на перекрестке не к донской пойме, а совсем даже в противоположную сторону.

— Ты не заблудился? — не смог удержаться я от реплики. — Говорил же — в камышах охотиться будем...

— А с чего ты взял, что мы едем не туда? — по обыкновению напористо ответил мой напарник. — Маршрут точный, проверенный. Жди готового.

— А почему мы не на Дон едем? Там что, уток нет?

— Почему-почему... По кочану! Охотников там больше, чем уток. А на Криюше...

— М-да-кха-кха, — поперхнулся я, сраженный новостью.

Вот это номер! Стоило приезжать мне в Подонье, чтобы ехать на охоту туда, где я мальцом руками вьюнов в лужах ловил. Ну, пусть не совсем туда, ниже по течению. Но только какое там течение, если через каждые сто метров — куриный брод, а саму речушку с разгону перепрыгнуть можно. Откуда там утки? Разве что хозяйские, из ближних дворов.

Михаил, человек по натуре настойчиво-говорливый, всю дорогу рассказывает охотничьи байки, а я только исподлобья на него поглядывал. Дорога уносила нас все дальше от донской поймы, но слева, словно желая утишить мою грусть-досаду, текла нам навстречу вдоль мелового холмогорья неширокая полоска луговины, лоз и верб. Какая-никакая, а тоже пойма. Ладно...

Проехали несколько сел, свернули влево, машина запылила, закачалась на ухабинах разбитой колеи. Дорога была сухая, надежная, но в тени верб глубокие выбоины еще держали в ладонях припорошенную опавшей листвой дождевую воду. Сосед вел машину уверенно, даже слишком: через выбоины мы буквально перелетали с разгону. Я пытался его образумить:

— Пониже лети!

— Зубы береги!.. И лоб!.. — выдыхал он весело. — Стекло жалко!..

Остановились около вербы с сухой вершиной, на зеленой луговине с черной метиной кострища. Дорожная колея тут не кончалась: взобравшись на густо поросшую ежевикой и чередой земляную насыпь, она уходила в заросли тальника и двухметрового камыша, терялась там. На мой немой вопрос Михаил ответил коротко, но внятно:

— Дальше нельзя, стать негде. Гатка. А это, — он широко повел рукой, указывая на камышовые крепи справа от насыпи, — Гатище. Утки тут море. Ладно, будем располагаться...

Самое лучшее на такой охоте — это длинное, тянкое время перед ней. Уже натаскали мы брошенного, прихваченного летними дождями сена для ночлега, наломали сухого лозинника, костер развели, по рюмке выпили, закусили — а оно, время, все тянется, тянется.

Сентябрь на дворе — тихий, теплый, ясный. Темнота по вечерам еще не падает на степь коршуном, а долго течет в глаза родниковой водой сумерек. Вода эта будто бы смецает время. Над меловыми холмами тлеет закат, а тут, у нас над головами, уже ранние звезды повысыпались. Михаил, как семечки, охотничьи небылицы луждает — только шелуха летит.

Я, наשמливо поддакивая, ухмыляюсь — дескать, мели, Емеля. Меня забавляет его реакция на мои ухмылки: лобастый, крепкоплечий, давно заматеревший мужик, он, видя эти мои пацанские усмешечки, даже про шуточки-примочки обычные свои забывает. Кричит, руками машет:

— Чего лыбишься? Точно говорю! Там и-и-х! Вон, слышишь? Да вон, вон, гляди, над горою уже... на кормежку пошли в поля. А ты лыбишься, охламон!

Я, глядя из-под руки туда, где волнисто вычерчено закатом заречное мелогорье, его поддразниваю:

— Так то ж комары, Миш! Густо летят, вот гады! Заедят ночью...

Сосед плюется и уходит спать в машину. А я, откинувшись на спину, долго смотрю на звезды. Мне не хочется спать. Но я, наверное, засыпаю...

— Бух! Бух! — рвут сонную тишину дальние выстрелы. Я открываю глаза: в мутных, совсем не похожих на вечерние потемках проступает машина. Рядом с ней, разложив на капоте амуницию, одевается мой обидчивый Сусанин. На нем высокий, по грудь, резиновый комбинезон на широких лямках. Хочу сделать соратнику приятно:

— Ты на диверсанта похож.

— А ты — на дохлого куренка... Вставай, через пять минут трогаемся!

Сажусь, нашариваю сапоги: сосед — мужик крутой, ждать не будет. Куртка. Кепка. Патронташ. Ружье бы не забыть...

Уже шлепая вслед за Михаилом в обрызганную крупной росой, холодящую руки камышовую сумеречь, вспоминаю: а позавтракать? И с собой ничего не взял. Но молчу: какие разговоры, куда там...

Бредем мы по какой-то кабаньей тропе. Она узкая, мокрые стебли камыша мне все щеки выслезили. Под ногами все больше воды и чавкающего ила, сапоги вязнут, за корни цепляются. Спина мокреет, а из-под кепки пот течет уже так, будто в голове моей где-то прокладку пробило.

— Миш, скоро уже?

— Ч-ш-ш-ш!

И опять — чав-хлюп, хлюп-чав, чав-хлюп. Камыш расступается, открывая крохотный плесок, всего метров пять-шесть в диаметре. С одной стороны растет лозовый куст, с другой жметя к камышовой стене рогоз. Михаил манит меня пальцем. Кажется, пришли...

Мой наставник по-военному краток:

— Станешь за куст, камыш пригнешь, получится скрад. На Гатку тебе обзор не нужен, там наш брат стоит густо, муха не пролетит. Утка пойдет либо со стороны горы, либо по руслу. Твоя утка — налетающая, а не уходящая. Бей ту, которую стволом достать можно, иначе не найдешь. Понял?

— А если подождать, пока сядут?

— Куда сядут, чудило? Тебе на голову? Они ж тебя сразу срисуют!

— А тут не опасно? Сам говоришь, что на Гатке охотников полно...

— Радуйся, что коровы не летают. А то бы картечью как стали садить, точно б голову тебе снесли... А так только поугают. Ну, не дрейфы! Пока...

В утренней тишине еще долго слышатся мерные чавкающие звуки шагов: мой неутомимый сподвижник решил, видно, забраться в самую крепь, в середину Гатища. Я отдышался, пробрал себе обзор, пригнув

несколько камышовых вершиннок. Делать скрадок не стал, и так сойдет: в такой-то гущине кто меня увидит?

Рассвет, ночевавший где-то там, в полевой степи, на просторе, подошел к пойме медленно, будто боясь вымочить росой ноги. Проснулись камышовки, свежий луговой ветерок потянулся сладко, задевая руками верхушки камыша; потянулся и затих. Самое дремное время. И у меня глаза начинают слипаться, хоть спички вставляй. Но я, ружье наизготовку, стою на страже, вслушиваюсь, всматриваюсь. А еще комаров отгоняю. Они тоже проснулись, завтракать хотят. Вот еще один налетает, здоровый... стоп... это ж... Вскидываю ружье, но поздно: утка свистит у меня над головой. Через секунды за спиной у меня глухо ломаются выстрелы: «Гух-х! гух-х!» Потом горопливые выстрелы, как по цепочке, уходят вдоль Гатки к горе и там затихают. Салют в честь первой утки завершен. Теперь жди продолжения, да не зевай — тебе, тебе, говорю, тетеря сонная!

Когда рассвело, и утка — прав был сосед! — пошла валом, я растерялся: всюду бухало и бабахало, со свистом пронеслась мимо дичь — и одиночная, и стайками, а я все никак не мог выбрать момент для выстрела: то далеко, то сбоку, то, заложив вираж, утки резко уходят вверх. Похоже, кепка моя им не нравится. Придется ладить шалаш...

В той стороне, куда ушел Михаил, коротко ударил выстрел. И сразу же затрепал камыш, как будто шальный кабан в заросли ломанулся. Пару минут спустя шумок, уже приглушенный, назад прошелестел и затих. Зато пальба у меня за спиной со стихала: на Гатке, видно, десант высадили неслабый, причем один точно с пятизарядкой, очередями молотит. Иногда с неба слепым дождем сыпалась чуть ли не на голову излетная дробь, по жестяной камышовой листе барабанила. Но я уже не втягивал голову в плечи, привык. Стайная утка, покружив над Гатищем, реденькими дымками клонила за бугры, в степь. Но охота еще не кончилась, нет-нет, да и взлетали с прогалин скрытого зарослями речного русла одинокие криквы. Одна, еще не успев набрать высоту, вывернулась прямо мне на стволы, и я не промахнулся. Вроде не промахнулся... Шлепок раздался совсем рядом, метрах в десяти. Я, довольный, побрел сквозь гущину за добычей. А ее — куки-маки, нет нигде. Пыхтел, топтался, кругами ходил — негу, и весь сказ!

Вернулся на место, настроение на нуле, в животе волки воют: «У-у-у! У-у-у!» А Михаил выходит из своей берлоги и не думает, знай себе молотит: раз, и еще раз, и еще. У него двустволка, а бьет одиночными; значит... Тут на меня тройка крикв упала, на плес метясь. В последний момент заметили меня, дернулись вверх, но я успел приложиться, сбив тяжелого зеленоголового селезня. Селезень упал как раз на середину «мого» плеса, я так к нему рванул, что споткнулся и набрал сапогом воды. Пока стягивал сапог, выкручивал носок, приводил себя в порядок, утро уже перетекло в день. Утки совсем перестали летать, выстрелы стихли. На Гатке послышались голоса, смех. Скоро явился Михаил — в грязи и тине едва ли не по уши, но довольный, улыбающийся во весь рот:

— Хвались, ворошиловский стрелок!

А сам стоит, весь утками обвешан, как новогодняя елка игрушками. Только и вымолвилось через совсем не театральную паузу:

— Ну, ты силен, однако! Когда ж ты успел... Вроде и стрелял раз пять всего.

Сосед хохотнул довольноно:

— Обмен честный: один к одному! А твоя где вторая? Смазал?

На мои сетования отозвался сочувственно:

— Бывает. Тут сноровка нужна. Засек направление, определил расстояние, закрыл глаза — и топчи до места. Чего смеешься? С закрытыми глазами проще. А то головой крутить станешь, прикидывать, дорогу выбирать — и обязательно собьешься. А подранок тем временем в тину нырь, лапами за камышину держится, сверху — один клюв... Подранков надо добирать. Пошли, глянем.

Хлопоты наши оказались пустыми, но урок тот я на ус намотал. И совет, больше смахивающий на дружескую разводку, оказался по сути своей верным. Закрывать глаза, конечно, было вовсе не обязательно, главное в таких зарослях — «схватиться глазами» за ориентир и идти к добыче, не ступая даже на четверть шага. Только прямо! Все это я не раз потом проверил, в том числе и на полойных донских озерах-сагах. Так что соседа своего я не раз еще вспоминал добром, хоть наша с ним охотничья «крепь» скоро распалась. Он перешел на другую работу, подолгу бывал в командировках. Да и разными мы все же были людьми, его хваткость, стремление «бить все, что бежит и летит» смущали мою созерцательно-раздумчивую охотничью натуру.

А про Гатище я долго еще не забывал. Тянуло меня туда. Приезжал на мотоцикле, много лет служившем мне неказистом «минск-каре», закатывал его в заросли и — с головой в камышовые джунгли. Хорошо там было, одиноко, радостно и знобко. Иной раз зорю выстаивал без выстрела, но это как-то скользило мимо, не задевало. Наверное, не только добыча меня туда влекла...

Однажды осенью, уже не ранней, приехал туда на вечернюю зорю. Смотрю, воды в Гатище прибавилось, к тем «блюдечкам» чистой воды вдоль русла речки, где я привык уже охотиться, в сапогах не доберешься. Решил стать на самой насыпи, на Гатке, в самом дальнем ее краю.

Насыпь эта когда-то представляла собой перехватывающую всю пойму плотину, речке оставили только отвод — две врытые в плотину трубы. Трубы большие, худосочной речушке, похожей здесь на ручей, этого хватало с избытком. Воды тогда в запруде было много, целое озеро разлилось, правда, мелкое. Но в дело вмешался случай в лице вполне мирного племени бобров. Оказалось, что они не только дровосеки, но и землекопы: нарыли на Гатке нор, да так много, что в половодье через норы эти плотину под горой «прососало» сразу в нескольких местах. Из запруды вода ушла не вся, промоина же со временем превратилась в болотину, перебившую выход к горе. А поскольку ниже насыпи место тоже было заболоченное, глухое, Гатка стала тупиком.

Я зашел в самый край насыпи, перебрел через береговой лозняк и устроился как раз напротив небольшого озерца, в котором местные летом ловили на удочки карасей. День был будний, на Гатку никто не приехал, и я, дожидаясь вечернего лета, радовался неожиданному своему уединению. Но лет в тот вечер так и не случился, на Гатку, где ее всю осень встречали выстрелами, утка не шла. Стало темнеть, но уходить я не спешил: знал, что на облюбованное мной карасиное озерко утки садятся только в поздних сумерках. Когда темнота, до верхушек залив камыши, стала с ними вровень, я решил, что больше ждать нечего. Выбираясь из лозняка на насыпь, услышал чуть в стороне характерное бульканье, шум потревоженной камышовой крепости. Ага, значит, не один я, оказывается, такой упертый страдалец. Видно, кто-то из местных, еще до моего приезда, забрел в Гатище, простоял там попусту и теперь выходит к насыпи. Ладно,

попутчик будет, дорога отсюда одна. Тем временем бульканье стихло, будущий попутчик выбрался на сухое.

— Эй, земляк, — окликнул я на ходу и остановился. Ответа не было; что-то большое, темное, тронувшись было в мою сторону, остановилось, замерло. Горячая волна колыхнулась в груди, лизнула горло, не давая мне слотнуть слюну: то, что темнело в нескольких метрах от меня, мало напоминало фигуру человека. Уже понимая, что попал в переделку, я, бодрая себя, попробовал «взять на горло»:

— Эй, ты, ты там.. а ну давай...

Что именно «давай», я уточнить не смог, не успел, потому что явно и ственно различил ответное, недовольное:

— К-х-х-р-р-о! К-х-х-р-р-о!

Отпрыгнул ли я так далеко, попятился ли так ловко — не помню; обрел себя на самом краю Гатки, в руках — ружье, сердце из горла выпрыгивает, о зубы стучит: «Бей! Бей! Бей!» В горячке той кто-то удержал палец мой на спусковом крючке, не дал ему погибельно дернуться: утиные заряды в стволах, а там...

Там был кабан, да нет, по размытому силуэту судя, не кабан — каба-нище! Секач! Стрелять нельзя — порвет, затопчет. Стрелять нельзя... а что, что можно?

В таких случаях обычно пишут: «Томительно тянулись минуты»; это неправда: испуганное время, стучась в виски, оставалось рядом со мной, никуда не уходило. Не уходил и кабан, заступивший мне дорогу. Или это я ему дорогу заступил? Похоже, он правится к горе, где в садах давно исчезнувшего хутора полно сейчас поздней грушевой опади. А самый короткий путь туда — через промоину, по старой насыпи. Сойти мне в воду, брести, по пояс мокрому, через камышовую крепь в сторону луга — рискованно: там полно секачиной родни. Да и дойду ли — по темноте, без дороги...

Ничего вроде не изменилось, но отчаяние, которое набило мои ноги ватой, вдруг стало другим и поползло по спине горячей щекоткой. Решение пришло мгновенно, и я не думал ни секунды: пальнув вверх из правого ствола, я кинулся к кабану с диким криком: «У-а-а-а-а!» Услышал всплеск и треск камышей — и ноги мои подломились, уронили меня на колени. Треск в камышах удалялся, стихал. Дорога была свободна, но я не двигался, намертво сжав двустволку, в которой таилась вся моя защита — единственный патрон, заряженный утиной дробью...

Потом, пересилив себя, я еще бывал на Гатище, но уже не так часто, и только на утренней зорьке. Стоя в камышах, я уже не так беспечно воспринимал доносившиеся из камышового непролаза звуки-шорохи. «Попутчик», встретившийся на узкой вечерней стезжке, воображение мое не отпускал долго. Доводилось мне прежде слышать рассказы, как кидались на людей дикие свиньи, но там было все понятно: они защищали выводок. Порой кабан, бегущий из загона, выходил как раз на номер и бросался на охотника; а подранках я даже не говорю, они всегда опасны. Но что подвигло на «геройство» встретившегося мне на Гатке кабана, почему он не уступил мне дорогу по-доброму? Он не напал, да, но выжидал, грозил молча, хотя знал, что перед ним — человек. Может, просто запомниться мне хотел, в историю попасть?

...А еще я думал, что не зря помнит старая русская пословица про смелость, которая города берет. И не так уж важно, откуда та смелость взялась-приключилась. Главное — взятые города...

Я ТАМ БЫЛ...

Сказки часто такой присказкой заканчиваются: «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». Мне в детстве это обидным казалось: как же так, почему не попало? Рот, что ли, с дыркой? Ладно, пиво, оно горькое, а мед?!

Но вот уже и моя сказка к закату движется, и пора итоги, вовсе не сказочные, подводить. Хотя — почему же не сказочные?

Настоящая сказка уже одно то, что «я там был». Там — с поймой-Вербами, с поймой-Гатищем, с Холодной горой и Соболевым лесом, с прудами-озерами, с мечтами-надеждами, с простором и волей.

И «мед-пиво пил», конечно, сам того не замечая. Впитывал, вбирал, нес бережно те светлые мгновения, которые, ни слова не говоря, укрывали от жизненных стуж мою душу, окрыляли, растили ее.

Что же до того, что «по усам текло, в рот не попало» — дудки, я же тогда безусым был! Хотя...

Подонье, по сравнению с моей степной родиной, — земля обетованная, охотничий рай. Помимо всякой мелочи, вроде зайцев и уток, — кабаны, косули, лоси. Дичи много, люди в эти места за сотни верст поохотиться едут. Я приехал сюда человеком молодым, но охотником уже бывалым, к тому же — полноправным: с охотничьим билетом, с новой двустволкой шестнадцатого калибра. Среди коллег охотник едва ли не каждый второй; казалось бы, вливайся, осваивайся, вращайся в новую среду. Однако — не врос. Виной тому, конечно, мой характер. Да и привык я уже за многие годы своих мальчишеских охотничьих скитаний ни с кем не делить свою страсть. Зимой, сунув ружье в чехол, уезжал ранним утром на рейсовом автобусе подальше от райцентра, — чтобы потом полями, кружным путем, выйти под вечер к дому. Там, в полях, хорошо думалось. Иногда крылатым промельком задевали сердце незнакомые строки, которые потом, ночью, становились моими стихами. Зачем менять это богатство на шум и анекдотный хохот многолюдных охотничьих компаний? К тому же непререкаемым участником таких компаний был зеленый змей, а мне не хотелось заводить с ним дружбу.

Так шли мои редкие вольные дни, уводя за собой годы. И я стал замечать, что порой уже за ними не поспеваю — не в переносном смысле, а просто физически. Все настойчивее проступала на ногах синеватая венозная сетка — болячка наследственная, доставшаяся мне от отца. Левая нога после больших нагрузок опухала, я с трудом мог пройти несколько метров. Через несколько дней опухоль проходила, и я (молодости свойственна такая беспечность) о своей хворобе забывал. Но ненадолго, до следующей охоты...

Между тем жизнь, как строгая училка, выставила одним хмурым новогодним утром мне в дневник две тройки, да не врозь, а свела их, втиснула зачем-то в одну клеточку. Много это или мало — тридцать три года? Тогда казалось, что очень много. К тому же едва ли не каждый из поздравлявших меня друзей считал своим долгом напомнить: не юбилей, но дата, возраст Христа. Да, возраст Христа... Время трезвых оценок и твердых решений — не только на работе (к тому времени я уже полгода работал народным судьей), но и в жизни, которая личной зовется. Каких решений, в чем? Все большей помехой в строгой службе становилась моя склон-

ность к поэтическому творчеству; для меня же стало все более ясным, что без поэзии прожить не сумею. И ничего здесь не смогут изменить ни укоры, ни косые взгляды, ни посулы сладких карьерных коврижек. Короче, жизнь, достигнув очередного своего перевала, была на переломе; и неизвестно было, куда она качнется.

Однажды уже не ранним зимним утром, вскоре после того памятного Новогодья, я выбрался на охоту. Сошел с автобуса совсем недалеко от райцентра, километрах в пяти. Было тихо, раннее январское солнце просвечивало сквозь морозную дымку, как яичный желток в граненом стакане. Хотелось идти и идти туда, в белую распахнутость полей, разводя руками сквозящие дымки полужансенных лесополос. Я и шел, даже не пытаюсь держаться постоянно маячившего перед глазами вилючего заячьего следа; следа четкого, утреннего. Заяц встал из-за снеговой застругины — прямо передо мной, как по-загаданному. Выстрел был удачным. Забрав добычу, я неторопливо двинулся назад, к дороге, до которой было всего-то километра два. Шел и думал, вернее, старался заставить себя так думать — дескать, какая удачная, какая легкая охота выдалась; такой еще и не бывало. Ноша была вроде не тяжелая, но снег, особенно на длинных поземочных склонах, казалось, намеренно цеплял, придерживал мои валенки. Когда вышел к дороге, горевшей огнем левой голени было в валенке тесно. На попутке (чего сроду не бывало) доехал до дома. Добрел до крыльца, с трудом поднялся по скрипучим ступенькам. На веранде положил заячью тушку на стол, поставил в угол ружье, неторопливо обмел валенки. И, глядя сквозь затянутые морозом стекла широкого, мелко расчерченного деревянной перевязью окна, сказал себе: «Все, парень, это была твоя последняя охота...»

Теперь, в оглядку, мне видно, что не одна только хворь была причиной такого резкого решения. Страсть охотничья, захватившая в отрочестве меня полностью, до тихой горячки, с годами менялась — остывала и остывала, пока не превратилась в подернутые золой синеватые угли. Такие остаются к утру на месте веселого, бойкого вечернего костра. Брось на них пучок сухой травы или высохший лозовый прутик — они отзовутся, вспыхнут, но недолгим будет это горение. Мне еще необходимы, радостны были ранние подъемы-сборы, узнающие меня в лицо полевые ветры, ружейный ремень, обнимающий мое плечо. Но сама добыча — даже не как прибиток к столу, а как средство самоутверждения, подтверждения статуса «могучего воина» в дружеском кругу — заботила меня все меньше; более того, порой даже тяготила. Наверное, сыграло роль и то давнее, до срока не тревожившее память, но не забывшееся: обесилевшие, пытающиеся найти спасение в глубоком снегу куропатки, заячий крик, тонкий, рвущий душу — тогда, на ночной охоте. Ритуал, алгоритм самого понятия «охота», отпечатавшийся в сознании, казалось, раз и навсегда, перестал быть самодостаточным, главным, единственно верным. И вовсе не случайными были эти строки, которые пришли ко мне как-то вдруг, сами собой:

ОХОТА

Слезлив стал...
Да, видимо, возраст,
Хоть вроде и рано о том.
А может быть, осень...
Задумчивый воздух,
Осина с багряным листом...

Давно не случилось такого вот лёта —
Стреляют с обеих сторон.
Но медлит, как будто припомнивши что-то,
К стволу поднесенный патрон.
И ветер мышонком, забравшимся в сенцы,
Шуршит в побелевшей куге...
Наверное, осень...
А может быть, — сердце,
Что было сродни пустельге:
Глядело далеко, летало высоко,
Не мучилось зряшной виной.
И падало долго, как маленький сокол,
Задетый дробиной шальной...

Что-то было в этих строках виноватое, прощальное, хотя тогда вешать ружье на гвоздь я еще не собирался. Впрочем, и спустя несколько лет мемориальный гвоздь мне не понадобился: приняв решение, я сдал ружье в «органы», раздарил все принадлежности и «снасти»; только дешевый патронташ из кожзаменилителя, весь в трещинах и царапинах, долго еще висел на стене в сарае, делясь воспоминаниями с набивавшейся в щели солнечной пылью. Не знаю, что он там ей заливал, но пыль та слушала его тихо-тихо. И — светилась...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кто-то из тех читателей, кому охота представляется занятием варварским, поторопится сказать вслед прочитанному: «Ну, вот, что и следовало доказать: полное авторское разочарование!» И попадет пальцем в небо. Главными моими воспитателями были бабушка Саня, книги и охота. Бабушка объясняла жизнь, ее главные ценности через труд; книги — через знание, охота — через преодоление.

Она учила вставать до света, по-солдатски ровно и крепко наматывать портянки, терпеть жажду и стужу, одолевая усталость, идти к намеченному «через не могу».

Она каждое утро, улыбаясь, подталкивала меня к рукомоюнику, обливала ледяной водой, совала в руки эспандер и гантели — кому нужны слабаки на охотничьей тропе!

Она ставила мне мужской характер, учила принимать решения и отвечать за свои поступки: не знаю, что случилось бы со мной, хоть и не слишком избалованным, но все же книжным мальчишкой, на жизненных дорогах без ее строгого участия.

А еще охота стала для меня, выросшего в отдаленном степном селе, сразу и концертным залом, и картинной галереей. Под ее рукой — там, в пойме, в полях и перелесках, на воле — все звучало по-иному: и шорох опавшей листвы под ногой, и скрип снега, и шум ветра в лозиннике. Все звуки, которые в привычной «мирной» жизни скользили поодиночке мимо, не трогая, не задевая, здесь сходились, сплетались, свивались в одно — и становились волнующей мелодией, которую нельзя было не услышать. Ее нельзя было не услышать, наверное, еще и потому, что частью ее был ты сам — твое замирающее дыхание, твое торопящееся навстречу этим тревожно-таинственным звукам сердце.

Являлся вдруг из балки, выходил на взгорок глубоко вдохнувший в себя утренний иней бурьян-чернобыл — и след твой, молодой и целеуст-

ремленный, вдруг замирал на широком шагу и топтался на месте, и тянулся неловко к этому диву дивному — прикоснуться, потрогать.

Зимнее солнце перед закатом дарило щедрые свои акварели: удивленно вскинутыми темными девичьими ресницами жила, держала взгляд занесенная по самую макушку лесополоса; вырезанному из красной закатной меди кусту боярки снился приовражный сугроб с розоватым пестушиным гребнем; мышкующая вдаль, на засолнечном, схваченном синими тенями склоне лиса казалась рыжим фонариком, зажатым в чьей-то нетерпеливой невидимой руке...

Все это было моим постижением родины — не ограниченной двором и садом, выгоном и школой, раз и навсегда затверженным распорядком обыденной жизни.

Охота была праздником — только моим, особенным: моими снами, моим нетерпением, моим несмелым рассветом и широко раскинувшим руки мне навстречу высоким днем; моей усталостью, умевшей смыкать веки не глухой темнотой, а качающимся перед глазами, размываемым синей водой сумерек заячьим следом.

И разочарованиями моими она была, и раздумьями долгими, и виной моей смутной — да, и виной тоже; но разве в жизни иной, привычно-благопристойной, умеющей рядиться в блестящие одежды всяческих «природолюбских» словес, ничего этого нет? Ой ли...

Может быть, теперь, говоря об охоте и пытаясь через много лет воскресить в памяти ее черты, нарисовать ее портрет, я что-то упустил, а что-то, напротив, дал слишком крупным мазком; но не так ли поступает художник, пытающийся воскресить на холсте черты дорогого ему лица? Это ведь не копирование, не перевод через кальку, а художественное отображение; нет смысла рассматривать картину с лупой в руках. Напротив, чтобы в глазах не рябило, хорошо бы отступить на шаг-другой, постоять тихонько, подумать, всмотреться. Бывает, что при этом сквозь рыбью чешую рвущих глаза бессмысленных мазков проступит вдруг что-то очень знакомое, волнующее, живое...

